ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

ЖАН

БОДРИЙЯР

МАТРИЦА АПОКАЛИПСИСА

ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ ЕВРОПЫ

ЭМИЛЬ

СИОРАН

ФИЛОСОФСКИЙ ПОЕДИНОК

Эмиль Мишель Сиоран
Жан Бодрийяр
Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы

Серия «Философский поединок»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9964355
Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы : [перевод с французского]: Алгоритм; Москва; 2015
ISBN 978-5-906789-09-9

Аннотация

В фильме «Матрица» один из его героев (Нео) читает книгу французского философа Жана Бодрийяра. С помощью этой книги Нео пытается понять, где реальность, а где матрица реального мира.

Внимание создателей этого фильма к произведениям Бодрийя-ра не случайно: его называли «гуру» постмодерна, он ввел понятие гиперреальности («матрицы») для обозначения процессов, происходящих в мире. По мнению Бодрийяра, западный мир утратил чувство реальности, он движется к Апокалипсису, когда последним бастионом становится смерть – на ней основана в наше время любая власть и экономика.

Еще один французский философ – Эмиль Мишель Сиоран – согласен с Бодрийяром в том, что европейская цивилизация переживает глубокий кризис, но пытается шутить на краю пропасти. С мрачным юмором Сиоран оценивает настоящее и будущее Европы, общества, европейского человека.

В книге, представленной вашему вниманию, собраны наиболее значительные произведения этих двух выдающихся мыслителей XX столетия.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Содержание

Жан Бодрийяр 6
Предисловие 6
Часть 1. В тени молчаливого большинства, или конец социального 14
Пучина, в которой исчезает смысл. Следовательно, исчезает информация 22
Возвышение и падение политики 28
Масса. Массы. Молчаливое большинство 31
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Жан Бодрийяр, Эмиль Сиоран Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы

© Бодрийяр Ж. (Baudrillard J.), Сиоран Э. (Cioran E.), правообладатели
© Перевод с французского
© ООО «ТД Алгоритм», 2015

* * *

Жан Бодрийяр
Фантомы современности

Предисловие

Жан Бодрийяр относится к тем редким философам, которые отстаивают свои взгляды не только на страницах книг или в научных дискуссиях, но и в настоящих баталиях. Он активно участвовал в революционных событиях 1968 года во Франции, находясь на левом фланге французских интеллектуалов-бунтарей, вел упорную борьбу с глобализмом и так называемым «новым мировым порядком». Книги Бодрийяра пользовались и пользуются большой популярностью среди самых широких слоев европейской общественности, не приемлющих наступления эпохи нивелированного массового сознания.

Призрачность мира на рубеже второго и третьего тысячелетий новой эры Бодрийяр считал следствием отсутствия целостного восприятия мироздания, в результате чего единство мира заменяется фрагментами, многополярностью, существованием фантомов, у которых нет подтверждения в реальности. Одним из основных терминов философского словаря Бодрийяра является понятие «симулякра»,

который представляет собой всего лишь симуляцию реальности, но не ее отображение, поскольку и самой-то реальности теперь нет. Единственное, что существует, это симулятивная «гиперреальность» с эмблемами, моделями и кодами.

Мир стал призрачным, и все в нем стало иллюзорным: политика, превратившаяся в «гиперполитику» или «трансполитику», экономика, ставшая «трансэкономикой», искусство, перешедшее в «трансискусство» и т. д. Все связи в этой симулятивной «гиперреальности» приобрели виртуальный характер; даже любовь и секс все больше и больше становятся очередными «симулякрами».

«Происходит взаимное заражение всех категорий, замена одной сферы другой, смешение жанров…» – пишет Бодрийяр. «Политика не сосредоточена более в политике, она затрагивает все сферы: экономику, науку, искусство, спорт… И спорт уже вышел за рамки спорта – он в бизнесе, в сексе, в политике, в общем стиле достижений. Все затронуто спортивным коэффициентом превосходства, усилия, рекорда, инфантильного самопреодоления. Каждая категория, таким образом, совершает фазовый переход, при котором ее сущность разжижается в растворе системы до гомеопатических, а затем до микроскопических доз, вплоть до полного исчезновения, оставляя лишь неуловимый след, словно на поверхности воды».

Нормы морали и веры, категории возвышенного, «величественный императив смысла» в призрачном мире пропада-

ют, уходят в прошлое, заменяются «плоской ритуальностью и оскверняющей имитацией».

И народа больше нет – есть массы, освобожденные от каких-либо высоких идеалов. В полную силу развернулась работа «по поглощению и уничтожению культуры, знания, власти, социального».

Кризис человеческого бытия достиг, по-видимому, своей высшей фазы. Бодрийяр говорит о «тошноте», ощущаемой миром людей, о болезненном состоянии этого мира, который «размножается, гипертрофируется и никак не может разродиться».

Бодрийяр уверен, что такое состояние не может длиться бесконечно. Что ждет нас дальше – вселенская катастрофа, конец света, Апокалипсис или в муках родится новый мир, будет построено новое социальное мироздание? Бодрийяр оставляет этот вопрос без ответа и не спешит делать оптимистические прогнозы на будущее…

* * *

Что касается Эмиля Сиорана (Чорана), то в его сознании ощущение трагичности жизни было центральным с самых ранних лет. На формирование его пессимистического мировосприятия повлияло множество факторов. Прежде всего, раннее знакомство со смертью. У родителей Чорана был сад, расположенный рядом с кладбищем; вспоминая об этом,

философ отмечал, что детские годы, проведенные в таком соседстве, должно быть, незаметно оказали на него сильное влияние. «Когда я был молодым, я думал о смерти не переставая. Это было какое-то наваждение: я думал о ней даже за едой. Буквально вся моя жизнь протекала под знаком смерти. Со временем эта мысль ослабла, но так и не покинула меня. Она перестала быть мыслью, но осталась моим наваждением. Именно из-за этой мысли о смерти, с одной стороны освобождавшей меня, а с другой – парализовавшей, я не стал приобретать никакой профессии. Когда все время думаешь о смерти, нельзя иметь профессию. Поэтому-то я и стал жить так, как жил, – на обочине, подобно паразиту».

Может быть, поэтому Чоран считал, что в философии есть только одна заслуживающая внимания проблема – это проблема смерти – и что рассуждать о чем-то другом – значит терять время, обнаруживая свое невероятное легкомыслие. Поэтому и в литературе его единомышленниками и учителями оказывались именно те писатели прошлого, у которых взгляды на эти вещи более или менее совпадали с его собственными. «Лукреций, Босюэ, Бодлер – кто лучше, чем они, понял плоть, понял все, что есть в ней гнилостного, ужасного, скандального, эфемерного?».

Другим моментом, добавившим мрачных красок в мировосприятие философа, стало его собственное физическое нездоровье и связанные с ним страдания, о которых он говорит очень часто. Физическая боль настолько ассоциируется

у Чорана с жизнью, что он готов признать, что не жил в тот день, когда не страдал. И здесь он тоже зовет себе в учителя и сообщники мыслителей и литераторов, о которых известно, что они страдали. «Паскаль, Достоевский, Ницше, Бодлер – все, кого я ощущаю близкими мне людьми, были людьми больными».

В числе мучивших его недугов Чоран выделяет бессонницу и, деля все человечество на две части – на тех, кто подвержен этой напасти, и тех, кто спит спокойным сном, – превращает ее если не в философскую категорию, то уж точно в мощный инструмент познания. «Не так уж плохо намучиться в молодости от бессонницы, потому что это открывает вам глаза. Это чрезвычайно болезненный опыт, настоящая катастрофа. Зато она позволяет вам понять некоторые вещи, недоступные другим: бессонница выводит вас за пределы всего живого, за пределы человечества». Кроме того, Сиоран с ранних лет мучился страшными болями в ногах, то ли ревматического, то ли нервного происхождения. Да еще постоянные, редко отпускавшие его простуды. Да ощущение тоски, всеобъемлющей тоски, сопровождавшей его и в Берлине, и в Дрездене, и потом в Париже.

В философском смысле пессимизм Сиорана связан с уверенностью, что в мире зло преобладает над добром. Такой позиции придерживался, в частности, Шопенгауэр, и Сиоран с готовностью развивал такую точку зрения. Эта его убежденность постоянно подпитывалась обыкновенным бы-

товым пессимизмом, из-за которого будущее видится человеку более мрачным, нежели настоящее. Индивид склонен укрепляться в этом мнении, поскольку впереди его ждут старость и смерть.

Сам Сиоран говорит о своем скептицизме: «У каждого свой наркотик; мой наркотик – это скептицизм. Я весь пропитан им. Однако этот яд позволяет мне жить, и, если бы не он, мне нужно было бы что-то более сильное и более опасное».

Сиоран с гордостью называл себя «космополитом». Нужно любой ценой, полагал он, оторваться от своих корней, дабы верность своему племени не выродилась в идолопоклонство. «Национализм, – заключал он, – это грех против духа, к сожалению, грех всеобщий. Стоики были не так уж глупы, и нет ничего лучше, чем идея человека как гражданина космоса. Как ни смешна идея прогресса, но христианство было огромным шагом вперед по сравнению с иудаизмом, шагом от племени к человечеству».

* * *

Есть в духовном облике Чорана и некоторые черты, которые, надо полагать, добавят ему симпатии русских читателей. Это, прежде всего, его любовь к России и достаточно хорошая осведомленность о различных аспектах русской культуры.

Обширность его познаний в области русской литературы просто поражает. Его дневники пестрят упоминаниями о Лермонтове, Гоголе, Тургеневе, Достоевском, Толстом, Гончарове, Тютчеве, Чехове, Бунине, Мережковском, Блоке, Есенине, Ахматовой, Пастернаке, Цветаевой.

Достоевский же является для него настоящим божеством. Любовь к нему либо нелюбовь – критерий интеллектуальной состоятельности человека. Например, одного того факта, что Тейяр де Шарден не был в состоянии оценить по достоинству автора «Бесов», Чорану достаточно, чтобы дать тому суровую оценку: «Что за идиот этот иезуит!».

Он хорошо знал русскую философию: Чаадаева, Соловьева, Шестова, Бердяева, Розанова. Особенно Розанова, внутреннюю близость к которому он отчетливо ощущал. «Розанов – мой брат. Это, несомненно, мыслитель, нет, человек, с которым у меня больше всего общих черт». Или вот о Соловьеве: «Меня поражает Соловьев. Меня будоражит все, что я читаю о нем».

И вот другая цитата из того же дневника: «Идет снег. Весь город покрыт белой пеленой, весь утонул в белой массе. О, как же я хорошо понимаю российское безволие, как хорошо понимаю Обломова, каторгу и русскую церковь. То, что Кюстин говорит о русских, которые не просто сталкиваются с несчастьем, но обрели к нему привычку, так хорошо подходит к моей родной стране». Поэтому румынам, оставшимся на родине, «итальянизированным славянам», он все-

гда давал совет держаться России, а не Запада. «Вместо того чтобы ехать на Запад, моим соотечественникам следовало бы направить свои стопы в Россию, где они с гораздо большей вероятностью нашли бы себе собеседников, озабоченных теми же проблемами, что и они сами. Как они не видят, что именно там находится их духовный центр, что именно там нужно искать то, что они надеются найти, и что именно там вопросы духовного порядка наиболее актуальны и остры? А они приезжают сюда, где находят то, от чего бегут, и где никто не может им ничего ответить, не может оказать никакой действенной помощи, не может дать надежды. Какое недоразумение!».

По материалам В. Никитина

Часть 1. В тени молчаливого большинства, или конец социального *(из одноименной книги Ж. Бодрийяра, перевод Н. Суслова)*

Все хаотическое скопление социального вращается вокруг этого пористого объекта, этой одновременно непроницаемой и прозрачной реальности, этого ничто – вокруг масс.

Магический хрустальный шар статистики, они, наподобие материи и природных стихий, «пронизаны токами и течениями». Именно так по меньшей мере мы их себе представляем. Они могут быть «намагничены» – социальное окружает их, выступая в качестве статического электричества, но большую часть времени они образуют «массу» в прямом значении слова, иначе говоря, все электричество социального и политического они поглощают и нейтрализуют безвозвратно.

Они не являются ни хорошими проводниками политического, ни хорошими проводниками социального, ни хорошими проводниками смысла вообще.

Все их пронизывает, все их намагничивает, но все здесь и рассеивается, не оставляя никаких следов. И призыв к массам, в сущности, всегда остается без ответа. Они не излучают, а, напротив, поглощают все излучение периферице-

ских созвездий Государства, Истории, Культуры, Смысла. Они суть инерция, могущество инерции, власть нейтрального.

Именно в этом смысле масса выступает характеристикой нашей современности – как явление в высшей степени имплозивное, не осваиваемое никакой традиционной практикой и никакой традиционной теорией, а может быть, и вообще любой практикой и любой теорией.

Воображению массы представляются колеблющимися где-то между пассивностью и необузданной спонтанностью, но всякий раз как энергия потенциальная, как запас социального и социальной активности: сегодня они – безмолвный объект, завтра, когда возьмут слово и перестанут быть «молчаливым большинством», – главное действующее лицо истории. Однако истории, достойной описания, – ни прошлого, ни будущего – массы как раз и не имеют. Они не имеют ни скрытых сил, которые бы высвобождались, ни устремлений, которые должны были бы реализовываться. Их сила является актуальной, она здесь вся целиком, и это сила их молчания. Сила поглощения и нейтрализации, отныне превосходящая все силы, на массы воздействующие. Специфическая сила инертного, принцип функционирования которой чужд принципу функционирования всех схем производства, распространения и расширения, лежащих в основе нашего воображения, в том числе и воображения, намеренного эти схемы разрушить. Недопустимая и непостижимая фигу-

ра имплозии (возникает вопрос: применимо ли к имплозии слово «процесс»?), о которую спотыкаются все наши рассудочные системы и против которой они с упорством восстают активизацией всех значений, вспышкой игры всех означающих, маскируя главное – крушение смысла.

В вакууме социального перемещаются промежуточные объекты и кристаллические скопления, которые кружатся и сталкиваются друг с другом в рассудочном поле ясного и темного. Такова масса, соединенные пустотой индивидуальные частицы, обрывки социального и распространяемые средствами информации импульсы: непроницаемая туманность, возрастающая плотность которой поглощает все окрестные потоки энергии и световые пучки, чтобы рухнуть в конце концов под собственной тяжестью. Черная дыра, куда проваливается социальное.

Рыцарь, Смерть и Дьявол. Гравюра Альбрехта Дюре-

Итак, полная противоположность тому, что обозначается как «социологическое». Социология в состоянии лишь описывать экспансию социального и ее перипетии. Она существует лишь благодаря позитивному и безоговорочному допущению социального.

Устранение, имплозия социального от нее ускользают. Предположение смерти социального есть также и предположение ее собственной смерти.

Термином «масса» выражено не понятие. За этим без конца используемым в политической демагогии словом стоит рыхлое, вязкое, люмпенаналитическое представление. Верная себе социология будет пытаться преодолеть его ограниченность, используя «более тонкие» категории социопрофессионального и классового, понятие культурного статуса и т. д. Стратегия ошибочная: бродя вокруг этих рыхлых и некритических представлений, можно пойти дальше, чем умная и критическая социология. Впрочем, задним числом оказывается, что и понятия класса, социальных отношений, власти, статуса, институции и само понятие социального – все эти слишком ясные, составляющие славу узаконенных наук понятия тоже всегда были только смутными представлениями, на которых, однако, остановились с тайной целью оградить определенный код от анализа.

Стремление уточнить содержание термина «масса» по-

истине нелепо: это попытка придать смысл тому, что его не имеет. Говорят: «масса трудящихся». Но масса никогда не является ни массой трудящихся, ни массой какого-либо другого социального субъекта или объекта. «Крестьянские массы» старого времени массами как раз и не были: массу составляют лишь те, кто свободен от своих символических обязанностей (пойман в бесконечные «сети») и кому предназначено быть уже только многоликим результатом функционирования тех самых моделей, которым не удается их интегрировать и которые в конце концов предъявляют их лишь в качестве статистических остатков. Масса не обладает ни атрибутом, ни предикатом, ни качеством, ни референцией. Именно в этом состоит ее определенность, или радикальная неопределенность. Она не имеет социологической «реальности». У нее нет ничего общего с каким-либо реальным населением, какой-либо корпорацией, какой-либо особой социальной совокупностью. Любая попытка ее квалификации является всего лишь усилием отдать ее в руки социологии и оторвать от той неразличимости, которая не есть даже неразличимость равнозначности (бесконечная сумма равнозначных индивидов 1+1+1+1 – это ее социологическое определение), но выступает неразличимостью нейтрального, то есть ни того, ни другого («neuter»).

Полярности одного и другого в массе больше нет. Именно этим создаются данная пустота и разрушительная мощь, которую масса испытывает на всех системах, живущих расхож-

дением и различием полюсов (двух или – в системах более сложных – множества). Именно этим определяется то, что здесь невозможен обмен смыслами: они тут же рассеиваются, подобно тому, как рассеиваются в пустоте атомы. Именно по этой причине в массе невозможно также и отчуждение: здесь больше не существуют ни один, ни другой.

Масса, лишенная слова, которая всегда распростерта перед держателями слова, лишенными истории. Восхитительный союз тех, кому нечего сказать, и масс, которые не говорят. Неподъемное ничто всех дискурсов. Ни истерии, ни потенциального фашизма – уходящая в бездну симуляция всех потерянных систем референций. Черный ящик всей невостребованной референциальности, всех не извлеченных смыслов, невозможной истории, ускользающих наборов представлений, – масса есть то, что остается, когда социальное забыто окончательно.

Что касается невозможности распространить здесь смысл, то лучший пример тому – пример Бога. Массы приняли во внимание только его образ, но никак не Идею. Они никогда не были затронуты ни Идеей Божественного, которая осталась предметом заботы клириков, ни проблемами греха и личного спасения. То, что их привлекло, это феерия мучеников и святых, феерии страшного суда и пляски смерти, это чудеса, это церковные театрализованные представления и церемониал, это имманентность ритуального вопреки трансцендентности Идеи. Они были язычниками – они,

верные себе, ими и остались, никак не тревожимые мыслями о Высшей Инстанции и довольствуясь иконами, суевериями и дьяволом. Практика падения по сравнению с духовным возвышением в вере? Пожалуй, даже и так.

Плоской ритуальностью и оскверняющей имитацией разрушать категорический императив морали и веры, величественный императив всегда отвергавшегося ими смысла – это в их манере. И дело не в том, что они не смогли выйти к высшему свету религии, – они его проигнорировали. Они не прочь умереть за веру, за святое дело, за идола. Но трансцендентность, но связанные с ней напряженное ожидание, отсроченность, терпение, аскезу – то высокое, с чего начинается религия, они не признают. Царство Божие для масс всегда уже заранее существовало здесь, на земле – в языческой имманентности икон, в спектакле, который устроила из него Церковь. Невероятный отход от сути религиозного. Массы растворили религию в переживании чудес и представлений – это единственный их религиозный опыт.

Одна и та же участь постигла все великие схемы разума. Им довелось обрести себя и следовать своему историческому предназначению только на узких горных тропах социальности, удерживающей смысл (и прежде всего смысл социальный); но в массы они внедрились, по существу, лишь в искаженном виде, ценой крайней деформации. Так обстояло дело и с Разумом историческим, и с Разумом политическим, и с Разумом культурным, и с Разумом революцион-

ным; так обстояло дело и с самим Разумом социального – самым для нас интересным, поскольку, казалось бы, уж он-то в массах укоренен и, более того, именно он и породил их в процессе своей эволюции.

Являются ли массы «зеркалом социального»? Нет, они не отражают социальное. Но они и не отражаются в нем – зеркало социального разбивается от столкновения с ними. Этот образ все-таки не точен, ибо снова наводит на мысль о полноте субстанции, глухом сопротивлении. Массы, однако, функционируют скорее как гигантская черная дыра, безжалостно отклоняющая, изгибающая и искривляющая все потоки энергии и световые излучения, которые с ней сближаются. Как имплозивная сфера ускоряющегося пространственного искривления, где все измерения вгибаются внутрь самих себя и свертываются в ничто, оставляя позади себя такое место, где может происходить только поглощение.

Пучина, в которой исчезает смысл. Следовательно, исчезает информация

Каким бы ни было ее содержание – политическим, педагогическим, культурным, – именно она обязана передавать смысл, удерживать массы в поле смысла. Бесконечные морализаторские призывы к информированию: гарантировать массам высокую степень осведомленности, обеспечить им полноценную социализацию, повысить их культурный уро-

вень и т. д. – диктуются исключительно логикой производства здравомыслия. В этих призывах, однако, нет никакого толка: рациональная коммуникация и массы несовместимы. Массам преподносят смысл, а они жаждут зрелища. Убедить их в необходимости серьезного подхода к содержанию или хотя бы к коду сообщения не удалось никакими усилиями. Массам вручают послания, а они интересуются лишь знаковостью. Массы – это те, кто ослеплен игрой символов и порабощен стереотипами, это те, кто воспримет все что угодно, лишь бы это оказалось зрелищным. Не приемлют массы лишь «диалектику» смысла. И утверждать, что относительно него кто-то вводит их в заблуждение, нет никаких оснований. Для производителей смысла такое во всех отношениях далекое от истины предположение, конечно, удобно: предоставленные сами себе массы якобы все же стремятся к естественному свету разума. В действительности, однако, все обстоит как раз наоборот: именно будучи «свободными», они и противопоставляют свой отказ от смысла и жажду зрелищ диктату здравомыслия. Этого принудительного просвечивания, этого политического давления они опасаются, как смерти. Они чувствуют, что за полной гегемонией смысла стоит террор схематизации, и, насколько могут, сопротивляются ему, переводя все артикулированные дискурсы в плоскость иррационального и безосновного, туда, где никакие знаки смыслом уже не обладают и где любой из них тратит свои силы на то, чтобы завораживать и околдовы-

вать, – в плоскость зрелищного.

Еще раз: дело не в том, будто они кем-то дезориентированы, – дело в их внутренней потребности, экспрессивной и позитивной контрстратегии, в работе по поглощению и уничтожению культуры, знания, власти, социального. Работе, идущей с незапамятных времен, но сегодня развернувшейся в полную силу. В контексте такого рода глубоко разрушительного поведения масс смысл неизбежно предстает как нечто совершенно противоположное тому, чем он казался ранее: отныне это не воплощение духовной силы наших обществ, под контролем которой рано или поздно оказывается даже и то, что пока от нее ускользает, – теперь это, наоборот, только неясно очерченное и мимолетное явление, эффект, своим возникновением обязанный уникальной пространственной перспективе, сложившейся в данный момент времени (История, Власть и т. д.); и он, этот по-новому представший смысл, всегда затрагивает, по существу, только самую малую часть наших «обществ», да и то лишь внешним образом. Сказанное верно также и для уровня индивидов: проводниками смысла нам дано быть не иначе как от случая к случаю – в сущности же мы образуем самую настоящую массу, большую часть времени находящуюся в состоянии неконтролируемого страха или смутной тревоги, по эту или по ту сторону здравомыслия.

Но этот новый взгляд на массы требует, чтобы мы пересмотрели все, что о них до сих пор говорилось.

Возьмем один из множества примеров пренебрежения смыслом, красноречиво характеризующий молчаливую пассивность.

В ночь экстрадиции Клауса Круассана телевидение транслирует матч сборной Франции в отборочных соревнованиях чемпионата мира по футболу. Несколько сотен человек участвуют в демонстрации перед тюрьмой Санте, несколько адвокатов заняты разъездами по ночному городу, двадцать миллионов граждан проводят свой вечер перед экраном телевизора. Победа Франции вызывает всеобщее ликование. Просвещенные умы ошеломлены и возмущены столь вызывающим безразличием. Монд пишет: «21 час. В это время немецкий адвокат был уже вывезен из Санте. Через несколько минут Рошто забьет первый гол». Мелодрама негодования. И никакого серьезного анализа того, в чем же состоит тайна этой индифферентности. Постоянная ссылка на одно и то же: власть манипулирует массами, массы одурманены футболом.

Получается, что это безразличие не обязательно, для характеристики масс самих по себе оно ничего не значит. У «молчаливого большинства», иными словами, нет даже его индифферентности, и уличать и обвинять его в ней можно лишь после того, как власть все же склонит его к апатии.

Но сколько, однако, презрения в этом взгляде на массы! Считается, что, будучи дезориентированными, собственной линии поведения они иметь не могут. Правда, время от вре-

мени они якобы все же погружаются в родную для себя революционную стихию, благодаря чему «разумность их собственной воли» ими так или иначе осознается. Но в остальных случаях, как полагают, надо молить Господа, чтобы он хранил нас от их молчания и их инертности. А ведь именно это безразличие и необходимо было бы по-настоящему проанализировать. Вместо того чтобы рассматривать его как следствие, результат действия своего рода белой магии, постоянно отвращающей, отводящей толпы от их природной революционности, нужно было бы взять его как нечто самостоятельное, в его собственной позитивной силе.

И почему, собственно говоря, это отвлечение масс от революционности удается? Не стоит ли задуматься над тем странным обстоятельством, что после многочисленных революций и сто– или даже двухсотлетнего обучения масс политике, несмотря на активность газет, профсоюзов, партий, интеллигенции – всех сил, призванных воспитывать и мобилизовывать население, все еще (а точно такой же ситуация будет и через десять, и через двадцать лет) только лишь тысяча человек готова к действию, тогда как двадцать миллионов остаются пассивными – и не только пассивными, но и открыто, совершенно откровенно и с легким сердцем, без всяких колебаний ставящими футбольный матч выше человеческой и политической драмы? Любопытно, что этот и подобные факты никогда не настораживали аналитиков – эти факты, наоборот, воспринимаются ими как подтверждение

устоявшегося мнения, будто власть всемогуща в манипулировании массами, а массы под ее воздействием, со своей стороны, находятся в состоянии какой-то невообразимой комы. Однако в действительности ни того, ни другого нет, и то, и другое лишь видимость: власть ничем не манипулирует, массы не сбиты с толку и не введены в заблуждение. Власть слишком уж торопится некоторую долю вины за чудовищную обработку масс возложить на футбол, а большую часть ответственности за это дьявольское дело взять на себя. Она ни в коем случае не хочет расставаться с иллюзией своей силы и замечать обстоятельство куда более опасное, чем негативные последствия ее, как ей кажется, тотального влияния на население: безразличие масс относится к их сущности, это их единственная практика, и говорить о какой-либо другой, подлинной, а значит, и оплакивать то, что массами якобы утрачено, бессмысленно. Коллективная изворотливость в нежелании разделять те высокие идеалы, к воплощению которых их призывают, – это лежит на поверхности, и тем не менее именно это и только это делает массы массами.

Массы ориентированы не на высшие цели. Разумнее всего признать данный факт и согласиться с тем, что любая революционная надежда, любое упование на социальное и на социальные изменения, так и остаются надеждой и упованием исключительно по одной причине: массы уходят, самыми непостижимыми способами уклоняются от идеалов. Ра-

зумнее всего – вслед за Фрейдом, осуществившим подобную процедуру при исследовании строя психического, – именно этот осадок, это мутное отложение, этот не анализировавшийся и, возможно, вообще не поддающийся анализу слой разлагающихся остатков смысла и рассматривать в качестве ничем не обусловленной данности, из которой необходимо исходить. (Вполне понятно, почему такого рода решительно меняющий точку отсчета коперниканский переворот до сих пор не произошел в исследованиях мира политического: для воззрений на политическое он чреват самыми глобальными потрясениями.)

Возвышение и падение политики

По крайней мере со времени Великой французской революции политика и социальное предстают как нечто нераздельное, как созвездия-близнецы, так или иначе находящиеся в поле притяжения экономики. Эта их тесная связь обнаруживается и в наше время, однако весьма своеобразно – в одновременности их заката.

Сначала, в эпоху Возрождения, когда она возникает, когда внезапно выходит из сферы религиозного и церковного, чтобы заявить о себе как таковой голосом Макиавелли, политика есть лишь чистая игра знаков, чистая стратегия, не обременяющая себя никакой социальной или исторической «истиной», но, напротив, играющая на ее отсут-

ствии (точно так же позднее светская стратегия иезуитов будет играть на отсутствии Бога). Политическое пространство в начале своего существования – явление того же порядка, что и пространство ренессансного механического театра или изобретенной в это же время в живописи перспективы. Форма является формой игры, а не системой представления, семиургией и стратегией, а не идеологией – она предполагает виртуозность, но никак не истину (такая игра, цепь ухищрений и их результат, изображена Бальтасаром Грасианом в его «Придворном»). Цинизм и имморализм макиавеллиевской политики связаны не с неразборчивостью в выборе средств, на чем настаивает крайне грубая ее интерпретация: их надо искать в свободном обращении с целями. Цинизм и имморализм, и это хорошо понимал Ницше, заключены именно здесь – в этом пренебрежении социальной, психологической и исторической истиной, в этом вобравшем в себя максимум политической энергии движении чистых симулякров, условием которого является то, что политика есть всего лишь игра и еще не отдала себя во власть разуму.

Но начиная с XVIII века, и особенно с Революции, направленность политического решительно меняется. Оно берет на себя функцию выражения социального, социальное становится его содержанием. Политическое теперь – это представление, над игрой властвуют механизмы репрезентации (аналогичным образом эволюционируют и театр – он оказывается театром представления, – и пространство перспек-

тивы – из пространства машинерии, каким оно было первоначально, оно превращается в место фиксации истины пространства и истины репрезентации). Политическая сцена отныне отсылает к фундаментальному означаемому: народу, воле населения и т. д. На этот раз на нее выходят уже не чистые знаки, но смыслы: от политического действия требуется, чтобы оно как можно лучше изображало стоящую за ней реальность, чтобы оно было прозрачным, чтобы оно было нравственным и соответствовало социальному идеалу правильной репрезентации. И тем не менее равновесие между собственной сферой политического и силами, в ней отражающимися – социальными, историческими, экономическими, – будет сохраняться довольно долго. Так, во всяком случае, обстоит дело на протяжении золотого века буржуазных представительных систем (то есть в эпоху конституционности: Англия XVIII века, Соединенные Штаты Америки, Франция периода буржуазных революций, Европа 1848 года).

Конец политики, ее собственной энергии наступает с возникновением и распространением марксизма. Начинается эра полной гегемонии социального и экономического, и политическому остается быть лишь зеркалом – отражением социального в областях законодательства, институциональности и исполнительной власти. Насколько возрастает господство социального, настолько теряет в самостоятельности политическое.

Если для либеральной мысли характерна своего рода ностальгия по диалектическому равновесию между этими двумя сферами, то мысль социалистическая, революционная решительно настаивает на том, что придет время, когда политическое исчезнет, растворится в полностью прозрачном социальном.

Социальное овладело политическим. Но теперь, став всеобщим и всепоглощающим, низведя политическое до нулевой степени его существования, превратившись в абсолютное исходное основание, будучи вездесущим, то есть проникая во все щели физического и ментального пространства, – сохраняется ли оно еще как таковое? Нет, эта новая его форма свидетельствует о его конце: его энергия обращена против самой себя, его специфика исчезает, его исторической и логической определенности больше не существует. Утверждается нечто, в чем рассеивается не только политическое – его участь постигает и само социальное. У социального больше нет имени. Вперед выступает анонимность.

Масса. Массы. Молчаливое большинство

Политическое как таковое, политическое чисто стратегической направленности угасает сначала в системе репрезентации, а окончательно – в рамках современной неофигуративности. Последняя предполагает все ту же самовозрастаю-

щую знаковость, но знаки теперь уже не обозначают: в «действительности», реальной социальной субстанции, им больше ничто не «соответствует». Что может выражаться в политическом, чем может обеспечиваться эффективная работа его знаков, если социального референта сегодня нет даже у таких классических категорий, как «народ», «класс», «пролетариат», «объективные условия»? Исчезает социальное означаемое – рассеивается и зависимое от него политическое означающее.

Единственный оставшийся референт – референт «молчаливого большинства». Этим темным бытием, этой текучей субстанцией, которая наличествует не социально, а статистически и обнаружить которую удается лишь приемами зондажа, обусловлены все функционирующие сегодня системы. Сфера ее проявления есть сфера симуляции в пространстве социального, или, точнее, в пространстве, где социальное уже отсутствует.

Но молчаливое большинство (каковым являются массы) – референт мнимый. Это не значит, что оно не существует. Это значит, что оно не может иметь какой-либо репрезентации. Массы уже не выражают себя – их зондируют. Они не рефлектируют – их подвергают тестированию. Политический референт уступил место референдуму (организатор постоянного, никогда не прекращающегося референдума – средства массовой информации). Однако зондирования, тесты, референдум, средства массовой информации

выступают в качестве механизмов, которые действуют уже в плане симуляции, а не репрезентации. И ориентированы они уже на модель, а не на референт. С механизмами классической социальности (в состав которых по-прежнему входят выборы, институции, инстанции репрезентации, а также подавления) дело обстоит совершенно иначе: здесь все еще в силе диалектическая структура, поддерживающая ставки политики и различные противоречия, здесь все еще в силе социальный смысл, который перемещается от полюса к полюсу.

У механизма симуляции эта структура отсутствует. В паре зондаж/молчаливое большинство, к примеру, нет ни противоположных, ни вообще выделенных элементов; нет, следовательно, и потока социального: его исчезновение – результат смешения полюсов в движении тотальной сигнальности (точно так же обстоит дело и на уровне ДНК и генетического кода – с молекулярной командой и субстанцией, в отношении которой она подается). Именно таким образом – по схеме сокрушения полюсов и круговращения моделей – и развертывается симуляция (это матрица любого имплозивного процесса).

Бомбардируемые рассчитанными на ответную реакцию сигналами, забрасываемые посланиями, атакуемые тестовыми испытаниями, массы оказываются теперь лишь непрозрачным, непроницаемым образованием, подобным тем скоплениям звездного газа, которые изучаются только мето-

дом анализа их светового спектра – данные статистики и результаты зондажа играют здесь ту же роль, что и спектр излучений. И речь теперь идет не о выражении или представлении, а исключительно о симуляции больше уже не выражаемого и в принципе невыразимого социального. Такова природа молчания масс. Но оно, следовательно, парадоксально – это не молчание, которое не говорит, это молчание, которое накладывает запрет на то, чтобы о нем говорили от его имени. Оно, стало быть, является отнюдь не формой отстраненности, а совершеннейшим по своему характеру оружием.

У молчаливого большинства не бывает представителей – репрезентация расплачивается за свое прошлое господство. Массы уже не инстанция, на которую можно было бы ссылаться, как когда-то на класс или народ. Погруженные в свое молчание, они больше не субъект (прежде всего не субъект истории) и, следовательно, не могут войти в сферу артикулированной речи, в сферу представления, не могут проходить «стадию (политического) зеркала» и цикл воображаемых идентификаций. Отсюда их главная особенность: не будучи субъектом, они уже не могут оказаться отстраненными от самих себя – ни в языке собственном (у них его нет), ни в любом другом, который претендовал бы на то, чтобы им стать. Но тогда революционные ожидания напрасны. Ибо они всегда основывались на вере в способность масс, как и класса пролетариев, отрицать себя как таковых. Однако масса – это поле поглощения и имплозии, а не негативно-

сти и взрыва.

Масса избегает схем освобождения, революции и историчности – так она защищается, принимает меры против своего Я. Она функционирует по принципу симуляции и мнимого референта, предполагающему политический класс-фантом и исключающему какую-либо «власть» массы над самой собой – масса есть в то же время и смерть, конец политического процесса, которому она могла бы оказаться подконтрольной. Она губит и политическую волю, и политическую репрезентацию.

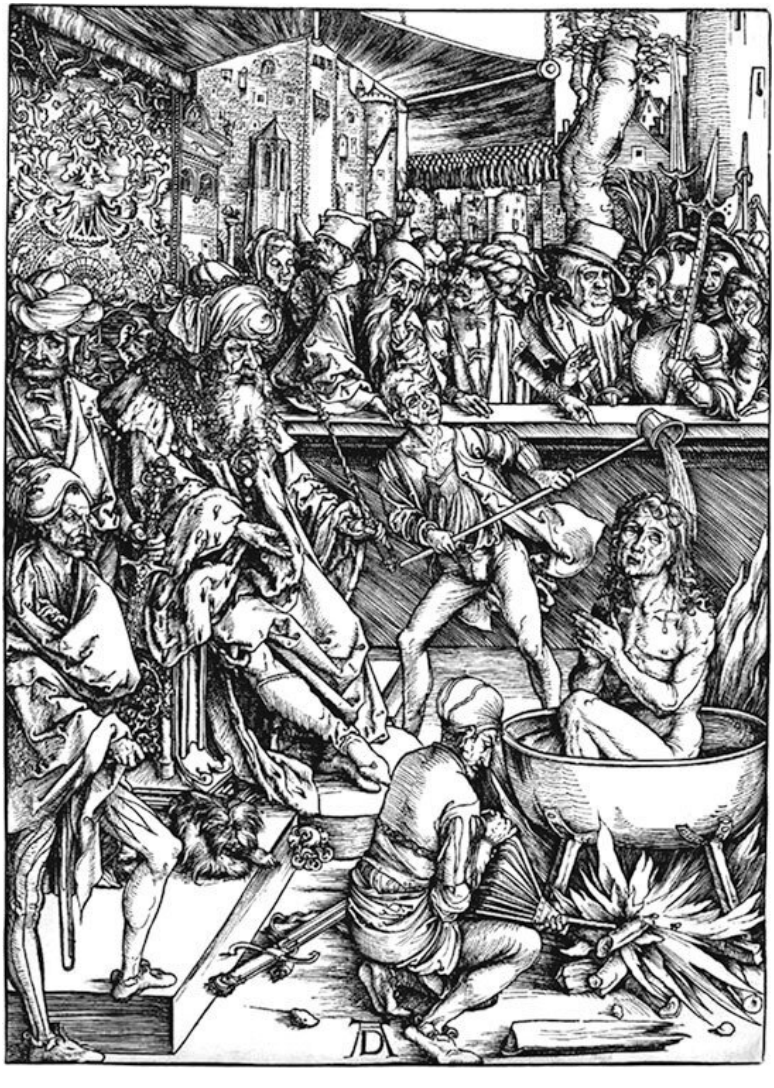
Долгое время казалось, что апатия масс должна приветствоваться властью. У власти сложилось убеждение, что чем пассивнее массы, тем эффективнее можно ими управлять. Исходя из него она и действовала в период, когда властные механизмы были централизованы и бюрократизированы. Однако сегодня последствия этой стратегии оборачиваются против самой власти: безразличие масс, которое она активно поддерживала, предвещает ее крах. Отсюда радикальная трансформация ее стратегических установок: вместо поощрения пассивности – подталкивание к участию в управлении, вместо одобрения молчания – призывы высказываться. Но время уже ушло. «Масса» стала «критической», эволюция социального сменилась его инволюцией в поле инертности.

От масс постоянно требуют, чтобы они подали свой голос, им навязывают социальность избирательных кампа-

ний, профсоюзных акций, сексуальных отношений, контроля за руководством, празднований, свободного выражения мнений и т. д. Призрак должен заговорить, и он должен назвать свое имя. Молчание масс, безмолвие молчаливого большинства – вот единственная подлинная проблема современности.

На то, чтобы удержать эту массу в состоянии управляемой эмульсии и защититься от инерции ее неконтролируемой тревожности, тратится огромная энергия. Воля и репрезентация над массой уже не властвуют, но она сталкивается с напором диагностики, чистой проницательности. Она попадает в безграничное царство информации и статистики: нужно уловить ее самочувствие, выяснить позицию, побудить высказать какое-то пророчество. С ней активно заигрывают, ее окружают заботой, на нее воздействуют. И она откликается: «Французский народ полагает… Большая часть немцев осуждает… Вся Англия испытывает неописуемую радость по поводу рождения принца…» и т. д.

Ее предсказания кажутся следствиями ее дара предвосхищения и ее всезнания, но в них абсолютно ничто не отражается.



Мученичество Иоанна Богослова. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник Альбрехт Дюрер

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.